

Год счастья за кулисами Главы из будущей книги

От редакции. От всей души поздравляем нашего друга и постоянного автора Валерия Хаита с семидесятилетием, которое он отметил в нынешнем году.

О Викторе Ильченко

В 1970 году Миша Жванецкий и его друзья пригласили меня директором в свой театр миниатюр при Одесской филармонии. Так я стал артистом. В этом нет никакого противоречия: для того чтобы иметь возможность работать директором (или, как тогда говорили, бригадиром) эстрадного коллектива, я должен был быть тарифицирован именно как артист. Мне дали третью категорию разговорного жанра (8 рублей за выступление), и я приступил к исполнению своих совершенно не знакомых мне обязанностей.

Не знаю, чем руководствовались Миша, Рома и Витя, приглашая меня на эту работу, но я в тот момент был просто счастлив: быть рядом с любимыми артистами и ездить вместе с ними на гастроли — об этом можно было только мечтать. И кроме того, возник наконец долгожданный шанс завершить свою пусть и не совсем безуспешную, но все же довольно скучную инженерную карьеру.

Справедливости ради нужно сказать, что я в то время благодаря своим сомнительным кавээновским занятиям тоже был достаточно известен. Но, видит Бог, я уже тогда понимал разницу между случайной кавээновской известностью и настоящей популярностью профессионалов.

И вот меня пригласили в профессиональный театр. Я был в полном восторге.

Первые гастроли театра, которые я, с позволения сказать, готовил, планировались в город Черновцы. А директором филармонии в Черновцах (многие артисты это хорошо помнят) в те годы был знаменитый Фалик. О, это был администратор старого закала, интеллигент, настоящий артист своего дела! Он восседал в своем кресле, как какой-нибудь французский министр: всегда в бабочке, чуть ли не во фраке, с красиво оттеняющим седые волосы чуть загорелым лицом. Наши гастроли по городам и весям его, так сказать, "куста" были подготовлены им идеально, поэтому мои знаменитые друзья и одновременно (смешно сказать!) подчиненные

не имели в тот раз возможности по достоинству оценить деловые способности своего нового директора, что меня на время и спасло.

Но речь в данном случае не обо мне.

Тогда в Черновцах я и сблизился с Витей Ильченко по-настоящему. Он пригласил меня жить с ним в одном гостиничном номере, на что я с радостью согласился. Мы ходили вместе завтракать и обедать, вели беседы о том о сем, собирались на концерты. Я, помню, читал ему стихи Пастернака из книжки, изданной в малой серии "Библиотеки поэта", и он слушал их с таким интересом и вниманием, что я ему тут же эту книжечку и подарил.

Но Витя не только умел слушать — еще лучше он умел и любил рассказывать сам. А поскольку он очень много читал и вообще интересовался в жизни разными вещами, то и знания у него были весьма обширные.

Словом, с Витей было очень интересно... А если к этому добавить восторг от выступлений блестящей труппы, постоянным свидетелем которого я был, то нетрудно представить себе мое состояние весь этот гастрольный месяц.

Публика тогда в Черновцах была потрясающая. Я помню, как, стоя за кулисами, каждый раз буквально ощущал накатывающие на сцену из зрительного зала волны хохота, — когда на сцене появлялись поочередно Рома и Витя, когда они выходили вместе, когда читал Миша. В программе тогда были два монолога — "Оптимист" и "Пессимист", и я до сих пор не могу забыть, как почти встык с уходом под аплодисменты со сцены оптимиста Ромы появлялся из-за другой кулисы мрачный (в кепке, руки в карманах) Витя и, проводив скептическим взглядом пританцовывающего Рому, поворачивался к публике и бросал: "Сволочи все!..". Что вызывало в зрительном зале не только взрыв смеха, но и бурные аплодисменты.

Сказать, что Витя был замечательный артист, — мне кажется, ничего не сказать. Он мог быть и неплохим режиссером. Думаю, он и был им. Карцев и Ильченко в те годы работали со многими постановщиками. Но мне всегда казалось, что в работе с текстами Жванецкого, а тем более с этими конкретными артистами, роль режиссера должна была быть весьма скромной. Рома и Витя идеально чувствовали порой очень сложные для постановки Мишины тексты и часто приходили к режиссерам с готовыми решениями. И тот, кто принимал за основу их вариант (например, Евгений Ланской), как правило, выигрывал.

Роль же Вити в таких случаях была чрезвычайно важна. Когда он видел, что в юморе и в понимании текстов Жванецкого режиссер с ними, так

сказать, одной крови, то очень умело и деликатно давал советы. В противном же случае бывал очень решителен и, как правило, первым из троицы от режиссера отказывался.

А как актер он ставил перед собой сложнейшие задачи.

В ту нашу поездку в начале второго отделения программы стоял большой, чуть ли не двадцатиминутный монолог. Причем не очень смешной. И вот его как раз исполнял Витя. Там у Жванецкого был как бы рассказ какого-то директора клуба о своей жизни с лирическими и житейскими подробностями. И я помню, как в антракте Витя сам выходил на сцену и ставил себе стул для этого монолога, как примерял микрофон, корректировал свет. И как потом, ни на секунду не теряя внимания зала, мастерски читал этот огромный текст, получая в конце искренние аплодисменты по-настоящему взволнованных зрителей.

Но Витя был не только блестящий солист, он был идеальный партнер. Конечно, об этом лучше знает Рома Карцев — он был рядом с Витей на сцене, и ему, как говорится, виднее. Но вот что я неоднократно видел сам, и что меня особенно поражало — это его мимика, смена выражений лица, посадка головы. Помните в миниатюре "Слова, слова..." горделиво запрокинутую голову Ильченко: "Да, надолго — это хорошо..."? Или его же самодовольно-высокомерное лицо в "Теории относительности" — "относительно домов..."?

А блестящая, совсем по Станиславскому, игра Ильченко в изумительной миниатюре Жванецкого "На работе и дома" (один из вариантов названия — "Мужчина и женщина")? Невозможно забыть, как голый по пояс Витя в образе забитого инженера, пригласившего свою сослуживицу (ее играла Люся Сафонова) на свидание в квартиру друга, вместо того чтобы тут же приступить к "делу", говорит с ней о работе, жалуется на начальника и доводит себя до такого состояния, что кричит: "...Ты большой начальник, у тебя сегодня крупный пост, хорошо... Так сколько ручек на крышку ставить? А? Не знаете? Все! Билет на стол! Квартиру под детсад — и домой, по шпалам, по шпалам!..".

А ни на чьи не похожие характерные Витины интонации! "Кольцов, вы, конечно, были на работе!.. Отпустите собаку, товарищи, я уже с ним разговариваю!" ("Дурочка").

Между прочим, про собаку у Жванецкого, кажется, не было, здесь Витина (причем не первая и не последняя!) удачная импровизация.

Нет, что и говорить, неповторимые модуляции Витинового голоса звучат у меня в ушах до сих пор.

Карцев. Чем докажете, что вы Петров?

Ильченко. Да чего ты, чего ты, чего ты?! Я двадцать лет тут сизу работаю, чего ты?..

(“У кассы”, или “Кассир и клиент”)

А вот знаменитая миниатюра “Ставь птицу”:

Карцев. А ребята брали...

Ильченко. Какие ребята, кто их видел?..

Или там же: “Втулка — она коническая...”

А “Свадьба на 170 человек”!

Карцев. Остановите здесь, пожалуйста.

Ильченко. А платить?

Карцев. Как? Разве не оплачено?

Ильченко. Уже третья семья высказивает. Я монтировкой пересчитаю всех. Оплачено, оплачено...

Или из “Диспута” Витино знаменитое, пошедшее сразу в народ, — “Товарищ не понимает...”.

Кстати, впервые эта миниатюра, мгновенно ставшая шлягером, была сыграна Ромой и Витей на сцене Одесского Дома актера в театральном капустнике. Если мне не изменяет память, это было в новогоднюю ночь с 1970 на 1971 год. Там кроме “Диспута” были и другие совершенно уморительные номера, и Витя с Ромой и здесь задавали тон, блистали на равных.

Кроме виртуозного исполнения уже упомянутого “Диспута” я запомнил Витю еще в двух сценах того капустника. В одной он блестяще пародировал популярного тогда иллюзиониста Арутюна Акопяна. Номер состоял в следующем. Витя выходил на сцену, говорил: “Берем один маленький бумажка...” — и разворачивал большую афишу нового спектакля их театра. Затем со словами “Складываем этот бумажка” складывал афишу несколько раз, рвал ее на мелкие клочки и, завершив номер словами “Нет бумажка”, делал “Ап!”.

И зал хохотал и аплодировал тогда не только потому, что это было очень точно и смешно, но и потому, что было остро.

Многие помнят, как некоторые члены комиссии обкома партии и управления культуры, принимающей спектакли Карцева, Ильченко и Жванецкого, готовы были не просто запретить театр, но уничтожить даже упоминание о нем...

И еще один капустный номер с участием Вити стоит у меня перед глазами.

Кажется, в финале представления там была блестящая пародия на бывшие тогда в большой моде народные танцевальные ансамбли. Все участ-

ники представления начинали отплясывать знаменитый молдавский танец жок с характерными притоптываниями и восклицаниями. И вот, помню, один из танцоров — Карцев, бодро топая и охая в такт музыке, вдруг хватался за сердце и, продолжая еще некоторое время, но уже вяло, топать и охать, сползал вниз и оказывался недвижимым на полу. И тут наступал черед Вити: стоя в центре взявшихся за руки танцоров с истовым и одухотворенным лицом, он увлекал их вперед на поклоны, не обращая никакого внимания на упавшего, демонстративно переступая через него...

Роль ведущего в этом капустнике исполнял еще один актер театра — остроумнейший и легкомысленнейший (во всяком случае, в то время) Исая Котлер. Конечно, не он один в этой блестящей компании любил и умел пошутить, но некоторые его импровизации помнят до сих пор многие. Вот, например, поселяемся мы в тех же самых Черновцах в гостиницу "Буковина". А в руках у Исаея кроме чемодана две длинные палки, на которые мы вешали наш задник-ковер. Администратор говорит: "А куда это вы в гостиницу с палками?". Исая отвечает: "А я ими рис ем". Нужно было видеть, как хохотал и радовался чужой остроте Витя...

Я проработал в театре Карцева, Ильченко и Жванецкого год — дольше скрывать свое полное неумение заниматься административно-финансовой деятельностью мне не удалось.

В течение долгих лет после этого я тоже был от них от всех неподалеку — при первой возможности виделся с ними, восторгался их премьерами, даже иногда выпивал, но вот та первая совместная поездка запечатлелась в памяти особенно ярко. Вот мы сидим с Витей, обедаем, и он мне подробно и увлеченно рассказывает полную технологическую схему производства пива...

Гердт читает стихи

Познакомил меня с Зиновием Ефимовичем кинорежиссер Петр Тодоровский. Это было на Одесской киностудии, куда я был приглашен для участия в пробах на роль главного героя в будущем фильме Тодоровского "Городской романс".

А началось все с того, что Петр Ефимович по просьбе одесских властей принял участие в первой встрече одесской команды КВН в сезоне 1969/70 гг. (это был так называемый "Кубок чемпионов") в качестве режиссера. Он поставил нам домашнее задание, которое, помнится, и сыграло решающую роль в нашей встрече со знаменитой когда-то командой

подмосковного города Фрязино. Тодоровский и в нашем случае использовал только ему одному присущее в кино сочетание лирики и юмора. Таким же характерным для него было и умелое использование музыки. Я помню, как волшебным, вызывая каждый раз восторг в наших душах, звучала на репетициях мелодия итальянца Нино Рота из фильма "Восемь с половиной", ставшая лейтмотивом нашего домашнего задания...

Конкурс, а вместе с ним и встречу мы выиграли, с Петром Ефимовичем подружились надолго, что, видимо, и было одной из причин принятия им странного решения пригласить меня на пробы. Я прибыл, мне дали текст, познакомили с прилетевшей из Москвы тоже на пробы актрисой (фамилию не помню) и включили камеру. Через пять минут не только я, но и Петр Тодоровский понял, что никакой я не киногерой, но попросил меня прийти и на следующий день: должна была пробоваться другая актриса, которой мне теперь предстояло просто подыграть.

Ее имя я уже запомнил, поскольку, выполняя техническую роль, совсем не волновался; это была Маша, ставшая впоследствии Машей Соломиной, хотя главную мужскую роль в "Городском романсе" в результате исполнил не только не я, но и по каким-то причинам не Виталий Соломин, а совсем наоборот — Евгений Киндинов. Я знаю, чем утешился не получивший главную роль в фильме Виталий: он нашел себе на пробах будущую жену; меня же вполне устроило то, что я помог Маше успешно пройти эти самые пробы, сыграв таким образом решающую роль в ее встрече с будущим доктором Ватсоном.

И вот мы идем с Петром Ефимовичем по двору киностудии, а навстречу нам Гердт. Он был без проб утвержден на одну из ролей в "Городском романсе" и гостил в Одессе у друзей, часто видясь и с Тодоровским, которого уважал и любил. Причем любил до такой степени, что делал как раз в это время все возможное для переезда семьи друга в Москву. И насколько я помню, аргументы Гердта были, как он говорил, сугубо эгоистическими: он просто не мог дня прожить без Пети. Тот платил Зиновию Ефимовичу тем же; даже район съемок "Романса" в Москве, где были необходимые для фильма объекты, выбрал рядом с домом Гердта, чтобы тот мог приходить на площадку пешком.

Тодоровский представил меня, Гердт сказал, что наслышан (КВН тогда был в прямом эфире, да и интеллигенция его тогда еще смотрела), взял меня под руку, увел от Тодоровского и сразу стал мне читать Пастернака. В некоторых стихах я подхватил строки, некоторые мы прочли, так сказать, в унисон, а раз-другой я даже позволил себе уточнить некоторые сло-

ва. Со временем стало понятно, что у Гердта это был такой своеобразный тест: знание стихов, и прежде всего, Пастернака, было как бы пропуском в его мудрую поэтическую душу. После того знакомства я еще несколько раз виделся с Гердтом в доме его одесских друзей, куда и для меня была открыта дверь, а когда я вновь оказался в Москве, то несколько раз даже побывал в гостях в его двухкомнатной квартире на улице Телевидения в крашенном темно-синей краской новом доме. Помню, вот я прихожу на съемки, жду, когда Зиновий Ефимович отснимет свой эпизод, и мы идем с ним по свежему снегу к его отчетливо видимой синей девятиэтажке, где на первом этаже была его квартира. Он меня угощает обедом, потом уже в сумерках, не зажигая света, мы опять читаем Пастернака, перекидываемся строчками, потом доходим до романа в стихах "Спекторский", откуда я тоже знал наизусть какие-то куски, скажем, такой:

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны...

Потом он начинает мое самое любимое из "Спекторского":

Поэзия, не поступайся ширью,
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся строчками в пункте
И зерен в мере хлеба не считай...

И я подхватываю:

Недоумением меди орудийной
Стесни дыханье и спроси певца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?..

Потом я напоминаю ему волшебное, буквально сверкающее оттуда же:

Поселок дачный, срубленный в дубове,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом...

И тут выясняется, что я тоже когда-то обратил внимание и чуть ли не помнил наизусть напечатанный в пастернаковском томе "Библиотеки поэта" в разделе "Ранние редакции" потрясающий фрагмент из "Спекторского":

Когда рубашка врезалась подпругой
В углы локтей и без участия рук,
Она зарыла на плече у друга
Лица и плеч сведенных перепуг,

То не был стыд, ни страсть, ни страх устоев,
Но жажда тотчас и любой ценой
Побывать с своею зябкой красотой,
Как в зеркале, хотя б на миг одной...

В тот вечер Зиновий Ефимович подарил мне свою фотографию с очень теплой и очень лестной для меня надписью...

С тех пор я много раз слышал, как Гердт читал стихи. Это было неподражаемо! Мне довелось бывать на концертах выдающихся чтецов. Я помню прекрасное чтение Пушкина Дмитрием Журавлевым; несколько раз слушал поэзию Гарсиа Лорки и Жака Превера в изысканном исполнении Вячеслава Сомова; до сих пор у меня в ушах звучит мгновенно запомнившаяся с сомовского голоса миниатюра Раймона Кено:

Возьмите слово за основу
И на огонь поставьте слово.

Добавьте мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного слез, немного перца,
Кусок трепещущего сердца
И на конфорке мастерства
Прокипятите раз и два
И много-много раз все это.

Теперь пишите... Но сперва
Родитесь все-таки поэтом!

Я слушал стихи Давида Самойлова в великолепном исполнении Рафаэля Клейнера, слушал Михаила Казакова, Сергея Юрского... Но я все равно считаю, что лучше Зиновия Гердта никто стихов не читал! Он читал просто, естественно, озабоченный лишь тем, чтобы донести до слушателя всю красоту и глубину стиха. Это не было актерским чтением. Он ничего особенно не педалировал. Он лишь подчеркивал мысль, чуть-чуть выделял особенно нравившиеся ему строки и сочетания слов, да, он как бы делился своим восторгом перед силой поэтического слова, но делал это сдержанно, благородно, никому ничего не навязывая.

Помню, как-то при мне он начал читать Лермонтова — "Наедине с тобою, брат...", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."). Возникло ощущение, что я слышу эти стихи впервые, какая поэтическая мощь, какая красота! Эти три сна в одном "Сне", эта ирония и печаль в "Брате"! И опять я запомнил стихи с голоса наизусть. Запомнил навсегда...

Как-то Зиновий Ефимович поведал мне, как он попал в театр Образцова. Я не помню рассказ буквально, но суть была в следующем. Гердт всегда мечтал стать актером. До войны он был участником Арбузовской студии и исполнителем одной из ролей в коллективно написанной знаменитой пьесе "Город на заре". С войны Гердт вернулся инвалидом, но мечта осталась. Какой театр согласится взять хромого? И тогда Гердт решил пойти к Образцову: это был театр кукол, и актеры там играли за ширмой. И когда Гердта пригласили в комнату, где заседала возглавляемая Образцовым некая комиссия, и спросили, что он умеет делать, Гердт начал читать стихи. Он прочел несколько и остановился. Образцов сказал: "Еще!". Гердт снова прочел несколько. Образцов вновь попросил продолжать. "Я читал часа полтора, — рассказывал Гердт, — и меня зачислили. Образцов сказал: "Берем. В крайнем случае, будете читать нам стихи".

Я еще раз прошу прощения, что решился написать об этом, не помня рассказ Зиновия Ефимовича дословно...

Гердт читал мне Самойлова, с которым близко дружил; благодаря Гердту я внимательно вчитался и полюбил Твардовского.

А вот рассказ о его личной встрече с Александром Трифоновичем. Гердты приобрели половину дачи в Красной Пахре (во второй ее части жила семья Константина Симонова). А в этом дачном поселке уже давно жил Твардовский. Так вот Зиновий Ефимович рассказал, как однажды встретил гуляющего в лесу поэта и, набравшись смелости, познакомился с ним. Они шли, беседовали, и вдруг Гердт неожиданно начал декламировать:

В чем хочешь человечество вини
И самого себя, слуга народа.
Но ни при чем природа и погода,
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни...

Эти стихи только что появились в "Новом мире", и Зиновий Ефимович сразу запомнил их наизусть. Он прочитал их поэту до конца...

...Безветренны, теплы, почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.
Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так чист и ясен этот день осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?..

Гердт рассказывал, как он волновался, читая, даже опустил голову. Поднявши глаза, он увидел, что Твардовский плачет...

Нетрудно высчитать, что встреча Зиновия Ефимовича с Твардовским состоялась ранней осенью 1968 года, советские танки только что вошли в Чехословакию; строка о пражском парке подсказывала, в связи с чем было написано стихотворение. Это все мне тоже рассказал Зиновий Ефимович...

Как-то в один из своих частых в те годы приездов в Москву я позвонил Гердтам и услышал от Татьяны Александровны, жены Гердта: "Зямы сейчас

нет, приходи вечером, расскажешь об Одессе...". Татьяна Александровна относилась ко мне тоже по-доброму, но несколько иронически. Так, за мою провинциальную привычку приходить в дом с цветами она называла меня одесским пижоном. В принципе, завоевать доверие жены Гердта было довольно трудно, я, честно говоря, еще легко отделался... Но это так, к слову...

И вот я прихожу вечером, у Гердтов гости, меня приглашают к столу, и я оказываюсь рядом с Александром Моисеевичем Володиным — великим драматургом, автором киносценария знаменитого "Фокусника", снятого Петром Тодоровским в 1967 году с Гердтом в главной роли. Гердт ведет стол (это отдельная поэма), взрывы смеха идут без пауз, я быстро хмелею (поэтому, видимо, никого из гостей, кроме Володина, сидящего рядом, не запомнил). Время мчится, и вот мы уже едем, а потом идем с Александром Моисеевичем, которого я вызвался проводить, по снежной Москве, и я с жаром читаю ему наизусть Твардовского, которого, по сути, открыл мне Гердт. Здесь и "Две строчки", и "Дробится рваный цоколь монумента", и "Немного надобно труда...", и "Полночь в мое городское окно", и начало "Теркина на том свете...". Читал я, видимо, хорошо, поскольку был пьян, а значит, смел. Александр Моисеевич не перебивал меня, восторгался стихами, говорил, что слышит их впервые, я удивлялся тому, что он может их не знать, и до сих пор во мне живет ощущение, что ироничный, склонный к мистификациям Володин просто меня тогда разыграл...

Еще одно яркое воспоминание, связанное с Зиновием Ефимовичем, — одесская Юморина 1976 года, к организации которой я имел тогда прямое отношение. Мы пригласили уже невероятно популярного к тому времени Гердта (фильм Швейцера "Золотой теленок" вышел в 1969 году). Он приехал с Петром Тодоровским, и на главном концерте Юморины в филармонии под гитарный аккомпанемент Петра Ефимовича они исполнили вместе специально написанные Гердтом куплеты, начинавшиеся так:

Послушайте, граждане, дамы, мужчины,
Мы выложим наш аргумент:
Какие быть могут еще Юморины
В такой напряженный момент?!

В то время как целый народ в Ламцедроне
Военщине рвет потроха,
Они в филармонии сидят, как на троне,
И все им хи-хи да ха-ха...

Номер имел бешеный успех, который только возрос после исполнения Гердтом и Тодоровским на бис таких же куплетов, посвященных Утесову.

А в девяностые годы мне посчастливилось видеть Гердта уже на петербургском фестивале юмора "Золотой Остап", где он был и лауреатом, и почетным гостем. Вот он выходит на сцену и тоже читает стихи, потом рассказывает невероятно смешной, тем более в его исполнении, анекдот про случай с охотником. Помните? Охотник проваливается в медвежью берлогу, страшно пугается, видит там медвежонок и шепотом спрашивает: "Папа дома?". Тот: "Не-ет." — "А мама?" — "Не-ет". Охотник, осмелев: "А ну, вали отсюда!..". Медвежонок зовет: "Бабушка-а-а!". (Ах, как Гердт это произносил!..) Потом Зиновий Ефимович зовет на сцену Валентина Гафта и просит прочесть новую, посвященную ему эпиграмму, и тот читает: "О необыкновенный Гердт! Он сохранил с поры военной одну из самых главных черт: колено-он-непреклонный!" — и зал взрывается овацией. И Гердт, прихрамывая на свою негнущуюся раненную ногу, сходит в четырехтысячный зал, который стоя приветствует его...

Тогда же (а возможно, это было и во время другого "Золотого Остапа") я, помню, спустился довольно рано в бар гостиницы, где жили гости фестиваля, выпить чаю и обнаружил там одиноко сидевшего за рюмкой коньяку Александра Володина. Я поздоровался с ним и, поскольку он меня не узнал, сел за другой столик. Через минуту появился Зиновий Ефимыч, к которому, видимо, и пришел Володин. Они обнялись и стали выпивать понемножку уже вместе. Был какой-то живой разговор, потом пошли стихи, бар понемногу заполнялся гостями "Остапа", и вот уже всех нас приглашают к столу, где они сидели, и мы неожиданно становимся зрителями и слушателями невероятного бенефиса этих двух остроумнейших и доброжелательнейших людей, которые были так рады друг другу, что почувствовали непреодолимое желание поделиться этой радостью с другими. И конечно же, опять были стихи, стихи, стихи...

Я думаю, что поэзия значила для Гердта очень многое, в частности, она заменяла ему религию: его мудрость, благородство, всегдашнее следование понятиям чести и достоинства, гармоничность его натуры были в нем именно от русской поэзии. Он поклонялся ей, причем вполне допускал в этой своей вере многобожие: Пушкин, Лермонтов, Пастернак, другие замечательные поэты были для него всю жизнь истинными богами...

Возвращаясь же к временам, когда судьба в лице Петра Ефимовича Тодоровского подарила мне знакомство с выдающимся артистом и прекрасным человеком Зиновием Ефимовичем Гердтом, я вспоминаю одну

встречу, когда я его немного подвел. Однажды, было это, кажется, году в семидесятом, Гердты взяли меня с собой к уже переехавшим к тому времени в Москву Тодоровским. Помню, мы пришли к ним в двухкомнатную квартиру на проспекте Вернадского, вытащили принесенные с собой бутылки и тут же сели к столу. Тем более что повод, по которому Тодоровские решили собрать гостей, красовался именно на столе: там сияла желтовато-стальным светом огромная овальная банка югославской ветчины. Кто помнит советские времена, согласится, что стать тогда обладателем подобного деликатеса было не только огромной удачей, но и настоящим праздником. Мы выпили за удачу и приступили к ее уничтожению. Со временем к нам присоединились дочь Гердтов красавица Катя со своим тогдашним мужем молодым театральным режиссером Валерием Ф. Конечно, банка ветчины была замечательным поводом для встречи, но по мере насыщения повод этот как-то стал меркнуть, и тут Зиновий Ефимыч намекнул, что раз я как-никак из Одессы, то должен взять по возможности художественную часть на себя. Я несколько раз пытался сказать что-нибудь если и не смешное, то хотя бы осмысленное, но не преуспел в этом: во-первых, здесь были Гердт с Тодоровским, шутить при которых было глупо, во-вторых, молодой театральный режиссер сидел за столом с таким видом, что ни у кого не возникало сомнений в его великом будущем, ну и наконец, присутствие красавицы Кати как ничто питало мое косноязычие.

Гердт оставил свои попытки меня реанимировать и стал невероятно смешно петь малоизвестные одесские частушки из утесовского репертуара, помню, про какую-то Франечку. При этом он так виртуозно подражал утесовской манере, что мы просто падали со стульев.

Вечер "Гердт в роли Утесова" продолжался и дальше и завершился опять стихами: Зиновий Ефимович уморительно прочитал в образе Утесова лермонтовское "Выхожу один я на дорогу...". Я тогда впервые узнал, что Утесов в уже более чем зрелом возрасте полюбил стихи Лермонтова, причем полюбил до слез. Уверен, что и здесь не обошлось без Гердта...

